Общие проблемы политической концептологии

ИДЕОЛОГЕМА ОСОБОГО ПУТИ, или «ОСОБЫЙ ПУТЬ» В ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ТУПИК¹

А.В. Оболонский

Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики

Аннотация: Работа представляет многоаспектную критику концепции «особого пути» России, являющейся, по мнению автора, идеологической легитимацией авторитаризма. Аргументируются неадекватность подхода с позиций исторического фатализма и простого эволюционизма, а также якобы «сакральности» российской власти в массовом сознании. Рассматривается ряд критических перекрестков в российской истории, когда страна по разным причинам не смогла перейти на иную «колею» развития, которая создала бы предпосылки для ее подлинной модернизации, и в то же время отсутствие цивилизационного запрета на такой переход в близком будущем, а также факторы, могущие этому способствовать. Обозначены психологический и социально-этический аспекты анализа проблемы. Рассмотрена цена избыточного экономизма в либеральной концепции развития страны в постсоветский период, а также вред и опасность технократичекого подхода к социально-политическим вопросам.

Ключевые слова: особый путь, авторитаризм, модернизация, «сакральность» власти, либерализм.

Максимально лапидарно суть концепции «особого пути» можно передать тремя чеканными фразами трех великих поэтов: Киплинга — «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут»; Пушкина — «правительство — единственный европеец в России»; и Данте — «оставь надежду, всяк сюда входящий». Каждая из них отражала некие реалии и смыслы свого времени и места. Но с их проецированием на сегодняшний день я не могу согласиться. Ни эмоционально, ни, что важнее, научно. Попытка объяснения причин этого — одна из целей настоящего текста.

Вообще проблематика «особого пути» — одна из «вечнозеленых» тем как для социальных наук, так и для политических дискуссий и деклараций. В науке и публицистике она присутствует, как минимум, с начала XIX века. Причем с самого начала ей был присущ высокий эмоциональный накал. Иногда, как, например, у первого поколения наших западников и сла-

DOI: 10.23683/2218-5518.2018.2.1831

¹ В основе статьи лежит текст, опубликованный в журнале «Знамя» (2017 г., № 11). Однако в силу его концептуальной важности редколлегия сочла целесообраззным его перепечатку в нашем издании.

вянофилов, полемика не выходила за рамки доброжелательного взаимного уважения. Но постепенно она, как правило, скатывалась в агрессивные формы взаимных обличений, как, продолжая тот же пример, произошло с панславистами и их радикализировавшимися либеральными оппонентами уже к середине того века. Но в любом случае эмоциональность не способствовала аналитическому уровню обмена аргументами. О спорах же политических и говорить нечего: они по определению имеют главной целью не выяснение истины и часто даже не приближение к ней, а убеждение в своей правоте сторонников, привлечение колеблющихся и индифферентных и стигматизацию противников.

Самообман «внеценностного подхода

Впрочем, я не считаю полную идейную индифферентность, идеологическую стерильность таким уж необходимым атрибутом «научности», объективности. Более того, полагаю, что так называемый внеценностный подход (value free approach) — в лучшем случае добросовестный самообман исследователя. Разумеется, убеждения, политические ориентации, тем более, чувства не должны влиять на объективность научного анализа, особенно на его технологическую часть. Но полностью абстрагироваться от своих взглядов невозможно не только в политике, но и в науке, да и вообще в самых разных областях человеческой деятеьности. Этот фактор нельзя элиминировать.

Его следует учитывать как данность, неизбежность, не закрывая на него глаза. Именно так, по-моему, можно блокировать возможный вред от человеческой субъективности, предзятости. Поэтому позиция исследователя, заявляющего о своей полной эмоциональной отстраненности от социального или гуманитарного объекта изучения, о своем холодном (или даже «цинином») безразличии к результатам не вызывает у меня ни солидарности, ни даже особого доверия, а кажется скорее неким интеллектуальным лукавством. Разумеется, врач не должен плакать над пациентом, особенно во время операции. Но другая крайность (а я как-то слышал от одного врача, подвизающегося в медицинской науке, что больной его интересует, главным образом, с точки зрения эксперимента), по-моему, гораздо хуже. А по нынешним временам в тот же ряд можно поставить и «интерес» к больному лишь как к источнику получения прибыли, к «дойной корове» медиков. Полагаю, особые комментарии не нужны.

Возвращаясь же к собственно науке, замечу, что даже веберевская концепция аполитичной бюрократии в итоге оказалась не вполне адекватной и была скорректирована. Просто на неизбежность «человеческого» в любой интеллектуальной деятельности надо не закрывать глаза, а принимать во внимание, учитывать и при необходимости воздействовать, например, на стадии отбора людей для решения той или иной задачи. Лично я не скрываю своих либеральных убеждений, но полагаю, что это не наносит ущерба моим исследовательским «штудиям», а в каких-то случаях даже может повысить их ценность в общекоцептуальном плане.

Уточнение понятий

Итак, проблема особого пути, как и еще более общая проблема модернизации, имеет множество аспектов. Затрону лишь некоторые. Но начну с некоторых понятийных уточнений, что является необходимым для научного да и вообще аналитического текста.

Прежде всего замечу, что особый путь, предполагающий несменяемость исторической «колеи», основан на сугубо эволюционистском когнитивном подходе. Между тем, как известно еще из основ классической диалектики, динамике сложных систем, одной из которых несомненно является общество, присуще не только количественное развитие, но и качествен-

ные скачки. И смена «колеи», переход на другую траекторию развития — как раз один из вариантов такого скачка.

Модернизация как понятие имеет множество определений. Не вдаваясь в данном случае в понятийные дискуссии, просто отграничу используемое в данном тексте ее понимание от других. Ведь определ**И**ть в определенном смысле значит опред**Е**лить, т. е. отделить от всего прочего. Поэтому для меня здесь модернизация это не просто реформы, даже самые широкие, и не их совокупность, а другое — изменение **инварианта** системы отношений в паре «человек — власть», «человек — общество». Объем текста не позволяет углубляться в эту тему, которую я в свое время подробно рассматривал в дихотомии системоцентризм-персоноцентризм [Оболонский 1994]².

Особый путь же вообще не обязательно предполагает модернизацию. Главное в нем — подчеркивание своей исключительности, непохожести на других, в пределе даже уникальности. При этом она не обязательно носит положительный, оптимистический характер, а может даже напротив — подчеркивать исключительность страданий, выпавших на долю народа бед и несчастий. В религиозном сознании это связывают с «богоизбранностью», со страданиями за веру, а психоаналитики называют опытом «разделенной травмы». Чаще всего это связано с памятью о тяжелом военном поражении, о потере независимости. Причем ни реальная фактология, ни даже давность исторического события особого значения не имеют. Это может быть как «веймарский синдром», овладевший немцами после совсем свежего тогда проигрыша Германией Первой мировой войны, и внезапно воскревшее и активизировавшееся почти до степени паранойи воспоминании сербов о поражении в Косовской битве почти 600 лет назад. Важен не столько факт, сколько символ.

Вообще сама по себе идеологема «особого пути» — вещь не оригинальная. В каком-то смысле каждая страна идет по своему особому пути. А предметом анализа в культурологическом смысле являются различные цивилизационные инварианты, лежащие в основе выбора пути. И для меня, повторюсь, модернизация — не просто совопупность реформ, а изменение основ системы отношений. А «особый путь» в одних случаях имеет модернизационный смысл, как в США, в других — подчеркнуто традиционалистский, как, например, в Японии до эпохи Мэйдзи. Главное, что их объединяем — премензия на ту или иную форму национальной исключительности.

Так, в странах Латинской Америки одно время пользовались популярностью клише, порой звучащие для нашего уха забавно и узнаваемо: «аргентинская державность», «особая чилийская духовность», «уругвайская всечеловечность», «перуанский народ-богоносец». Разумеется, каждое в «своей» стране. Пожалуй, впору оговориться, что возможные аллюзии автор отставляет на усмотрение читателей!

Но, превращаясь в инструмент политиканской эксплуатации и манипуляции, эта «забавность» может привести к катастрофе. Известно, куда завел Германию Zonderweg³. Трагическая история его выдвижения на политическую авансцену в веймарской Германии и социально-психологические типы личности, ставшие его «мотором», в художественной литературе описаны Л. Фейхтвангером, Т. Манном, Б. Брехтом, а в научной аналитике — Т. Адорно, Э. Фроммом, Х. Арендт. А из совсем свежих книг весьма рекомендую эту [Хаффнер, 2016].

 $^{^2}$ См. также материалы международной многодисциплинарной группы экспертов, объединяющей ряд ведущих мировых специалистов по изучению и разрешению социальных и национальных конфликтов // international dialogue initiative.com.

³ Это понятие родилось в Германии в период зарождения национального романтизма, было очень популярно в первой половине XX века, но ныне полностью вышло из «моды» вместе с осознанием того, куда этот особый путь их завел.

Историческая специфика российской псевдомодернизации

В России исторически преобладал симбиоз традиционалистских геополитических целей и модерных средств их достижения. Вообще милитаризм, казарменный стиль российской модернизации — имманентный атрибут нашего «особого пути» — от Петра до Сталина [Клямкин 2011].

Яркий пример — петровская модернизация начала 18 века. Я даже предпочитаю называть ее *псевдомодернизацией*, ибо ее прагматичной целью было не изменение, а укрепление все того же деспотического anciene regime путем придания ему большей функциональной эффективности за счет использования готовых западноевропейских средств при сохранении, словами В.О. Ключевского, традиционного московского «тяжелого, угнетательного отношения к людям» [Ключевский 1958, т. 4: 22]. Петр обратился к Западу отнюдь не за цивилизацией, а за ее плодами, «искал на Западе техники, а не цивилизации».

Идея — взять инструменты, прежде всего — военного характера, но отнюдь не дух, их породивший — поощрение свободы и инициативы. Весьма знаменательны записанные за ним Остерманом слова: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом» [Там же: 372–373].

Именно такую эволюцию, причем в очень жесткой и яркой форме, проделала Япония в период, известный под именем «революции Мэйдзи» и жизни следующего поколения. Да Япония меньше, чем за 100 лет, с 60 годов XIX до середины XX веков, вообще ни много, ни мало 4 раза (!) сменила «колею» или «матрицу» развития — от традиционного изоляционизма и местечковой децентрализованности — к низкопоклонству перед Западом и заимствованию всего иностранного с быстрой централизацией власти — к агрессии во внешней политике, быстрой экономической модернизации и централизации — к послевоенному устойчивому развитию и подчеркнутому миролюбию к внешнему миру. И никакой цивилизационный «код» этому не помешал. Впрочем, поскольку ушедшие века и другие страны — не главная наша тема, обратимся к последнему российскому столетию.

«Особый путь» как идеологическая легитимация авторитаризма

В России XX и начала XXI веков идеологема «особого пути» и связанная с ней мифология — одна из главных основ политической легитимации авторитарного режима. Сама эта идея имеет достаточно обширное фактологическое подкрепление, позволяющее построить на его основе серьезные, хотя, на мой взгляд, односторонние, аналитические конструкции. Я сам в свое время отдал ей дань, посвятив две книги комплексу связанных с этим проблем и «судьбоносным» перекресткам российской жизни за четыре века. Но в данном случае хочу сосредоточиться на другом — на политико-идеологическом смысле и последствиях концепции особого пути.

Иногда идеологема особого пути носит более оборонительно-изоляционистский характер, как в брежневские времена, иногда, как в последнее десятилетие — агрессивный. Причем агрессия может облекаться и в мессианскую форму, как, например, идея мировой революции, деятельность третьего Интернационала, «возвращение» Крыма. А при политическом провале она легко переходит в изоляционизм.

При этом для ее конструирования реальные исторические факты особого значения не имеют. Они тасуются, одни замалчиваются, другие выпячиваются, оживляются, заново интерпретируются, а то и конструируются пропагандистски удобным в настоящий момент образом. Задача конструкторов-политтехнологов, и пропагандистов — в первую очередь ангажированных СМИ, совсем в другом. Прежде всего, в легитимации status quo и стигматизации

любых попыток его изменить. «В российском случае это централизованная власть, при которой роль персон у "рычагов" правления важнее законов. Идея "особой цивилизации", в которой роль властвующих лиц неизмеримо большая, чем принято в демократических государствах. Эта же идеология призвана решать задачи политической терапии.... Внедрение в массовое сознание представлений об "особой цивилизации" и ее "особом пути" должно выполнить функцию санитарного кордона, препятствующего проникновению в Россию "чуждых" ей либеральных и демократических веяний» [Клямкин 2011; Яковенко2011: 130].

В 21 веке это в первую очередь связано с переменами во внутренней политике, поскольку произошло, когда либеральные реформы 90-х сменились контрреформами путинских лет. Внешняя же политика в ее геополитическом воплощении стала своего рода переключателем для массового сознания.

За последнее десятилетие концепт «особого пути» занял непомерно большое место как в массовом, так и в «просвещенном» сознании наших соотечественников. Одни — условно назовем их «патриотами-государственниками» — его лелеют и пестуют. Другие — опять же условно «западники» — относятся к нему как к несчастью или, по меньшей мере, как к плохому климату, в котором им, их предкам и потомкам выпало жить и умереть. Но <u>и те, и другие трактуют его как нечто фатальное, как якобы нашу непреодолимую судьбу</u> в духе греческих трагедий.

Живучесть мифа «особости» часто объясняют его якобы укорененностью в глубинах национального сознания. Я с этим не согласен. Во всяком случае, в его нынешней редакции он является «верхушечной» идеологической конструкцией, созданной и используемой для текущих весьма практических, даже приземленных нужд людьми, которых я бы назвал полупросвещенными «патриотами». Ведь «концепция суверенной демократии» имеет отнюдь не народное происхождение, а зародилась в конкретных мозгах и с вполне конкретными целями. То же относится и к идеологемам «ресурсного государства», даже «сословного государства» и административного ресурса, рассматриваемым как якобы неотемлемый элемент российской специфики. Нормой объявлены и клиентельные отношения между держателями адмресурса и потребителями государственных услуг. Все это ввел в оборот и легитимировал как нашу якобы естественную и неизбывную специфику отнюдь не народ, а прикормленные «ученые приказчики», вся «идеология» которых состоит в том, чтобы удачно склеить, реагимировать еще существующие, но отнюдь не доминирующие патриархальные стереотипы массового сознания, и исходящий «сверху» заказ. Мифотворческое «оправдание» настоящего через ссылки на прошлое, с моей точки зрения, означает отсутствие иных аргу**ментов**. Взгляд на историю как на настоящее, опрокинутое в прошлое, в исторической науке обычно называют «презентизмом». Думается, концепт «особого пути» подходит под это определение.

Впрочем, с теми «профессионалами-особистами», которые впрямую кормятся от мифа «особости», все более или менее понятно. Деятельность их представляет интерес не в научном, а совсем в иных аспектах, прежде всего — в плане социальной (а, может, и не только) ответственности таких интеллектуалов-мифологизаторов. Они не заслуживают научного текста и анализа.

Гораздо больше требует осмысления другое — по меньшей мере двойной, на мой взгляд, негативный эффект мифа особости. Во-первых, он, как любая *пегитимация фатальности*, оказывает на людей упадничекое, деморализующее, обезоруживающее воздействие, подавляя в них потенциал инициативности, желания добиваться перемен к лучшему. Во-вторых, он служит как бы лукавым самооправданием по модели «ничего нельзя сделать, все предопределено», а на самом деле *формой пассивной адаптации*, способом «выживания» в якобы раз и навсегда заданных и непреодолимых условиях.

В основе концепции особой российской цивилизации, полагаю, лежат цели, далекие от декларируемой «подлинной духовности», а весьма приземленные практические интересы определенной группы лиц. Убедительно, по-моему, показал это Э.Паин в книге «Распутица». Противопоставив объективное научное знание мифологии культурной предопределенности, он приходит к выводу, что «концепция «особой цивилизации», обусловливающая и «особый путь», и «особую демократию» России — весьма распространенный в мировой практике способ оправдания незыблемости авторитарных режимов», что это есть ни что иное как идеологически ангажированная геополитическая спекуляция в интересах определенных групп, а ее навязывание имеет простую и прозаичную цель — исторически «освятить» сложившийся в 2000-е годы политический режим с его «вертикалями» и патернализмом.[Паин, 2009]. А уж плоды западной цивилизации не просто подходят, а вовсю используются именно самыми громкими и скандальными антизападниками. Вспомним, где приобретают собственность, отдыхают, лечатся, учат детей члены нашей псевдоэлиты.

На мой взгляд, приписывание массовому сознанию россиян некой тотальной, непреодолимой подчиненности химере «особого пути» выглядит как своего рода «расизм наоборот» и равносильно *тезису о нашей национальной неполноценности* едва ли не на уровне неких генетичесих дефектов. Как минимум, в нем есть и избирательная примитивизация реальности, и что-то вроде «стокгольмского синдрома». Ведь даже самое критическое видение всех трагедий и несуразностей нашей истории и современности не дает оснований для подобного заключения. Да и отнюдь не только нашей. Если вспомнить еще раз Японию, то она менее, чем за столетие — с середины XIX до середины XX веков — четырежды (!) меняла свою «колею». Так что и здесь мы отнюдь не уникальны.

Миф «сакральности» власти

Некоторые из либеральных аналитиков российского «кода» отрицают существование в нем наличие сознания так назывемого «частного» человека, якобы замещенного стереотипом «сакральности» власти. На мой взгляд, это представление не выдерживает эмпирической верификации. Более адекватно, думается, преобладание в нем хитро опасливого, «уклончиво вороватого» отношения к ней. Сакральность предполагвает поклонение, желание как-то хоть «прикоснуться», порой далеко выходящее за рамки рационального, прагматичного поведения. Пример — любые виды паломничеств к «святым местам», часто и почти обычно связанные с материальными лишениями, тредностями, а то и опасностями для жизни. Как в давние времена — к гробу Господню, а ныне — в Мекку. И уж во всяком случае от сакрального объекта не стремятся убежать.

Ничего похожего в традиционном российском отношении к государству мы не видим. Скорей к нему относились как к враждебной, но непреодолиморй силе, с которой приходится жить и к ней приспосабливаться. Но отнюдь на нее не «молиться», а если и молиться, то формально, а еще лучше — показным, демонстративным, заметным для «начальства» образом, чтоб какие-нибудь бонусы от власти за это получить, либо чтоб, как минимум, от притеснений уберечься. Именно такой этический модус описал Лермонтов: «к добру и злу постыдно равнодушны... и перед властию презренные рабы».

Более того, люди, по возможности, напротив, стремились убежать от государства, благо было куда. В разные время такой «землей обетованной» становились южнорусские степи, запорожская вольница, северный Кавказ, Сибирь, в раскольничьи скиты...; дворяне либо уходили во внутреннюю эмиграцию, коротая век в имениях, либо во внешнюю — в Европу. Так что инстинктом свободы мы отнюдь не были обделены. Другое дело, что реализовывался он не внутри, а вовне, через бегство от государственной длани. А государство, на-

сколько могло, «догоняло» беженцев и в разных формах вновь привязывало к себе обязательствами, повинностями, накладывало на них свою тяжелую руку.

Эта перманентно воспроизводившаяся в разных формах ситуация представляется одной из базовых причин социальной динамики страны. Ибо люди, не желавшие мириться с участью покорных холопов государства, как бы выдавливались из нормальной жизни, не участвовали в развитии общества, а убегали из него. Наиболее активный человеческий капитал самоотчуждался от государства и страны. Государству не верили. При этом парадоксально, что даже в тех (не очень частых) случаях, когда государственные инициативы обещали людям пользу, благо, как минимум, пассивное сопротивление новшествам бывало особенно сильным. Так было и с Уложением Екатерины II, и с реформами Александра II, и в некоторых других исторических случаях и эпизодах. Срабатывал стереотип: «старое зло привычней и потому надежней обещаемого нового добра, которому к тому же и не верится, ибо от начальственных забот ничего хорошего не выходит».

И, к несчастью, в этом было и есть много правды. Чаще всего, чем внешне сильнее и могущественней становилось наше государство, тем хуже становилось жившим в нем людям. В.О. Ключевский описал эту ситуаци максимально коротко, в четырех словах: «*Государство пухло, народ хирел*». Увы, установка эта проявила себя и в 90-е годы, когда российская власть впервые за многие десятилетия, пусть непоследоватенльно и неумело, но действительно пыталась перевести страну на рельсы принципиально иного пути развития.

Миф фатальности исторической «колеи»

Идея о якобы невозможности выбраться из однажды выбранной исторической «колеи», об обреченности вечно следовать предназначенному исторической судьбой «раth dependence», как мне кажется, минимум небезупречна и в научно-методологическом отношении. Она основана на сугубо эволюционистском взгляде на историю, исключающем качественные скачки, прорывы за грань эволюционной постепенности. Между тем, как известно из теории познания, подобные скачки — неотъемлемая часть процессов динамики сложных систем всех уровней — от молекулярного до мега, космического. Вспомним хотя бы один из гегелевских законов диалектики. Общественные же системы безусловно относятся к классу систем очень сложных. И непонятно, почему многие сторонники концепта «особого пути» исключают из рассмотрения данное обстоятельство, оставаясь, повторяю, в плену эволюционистского подхода к истории.

Я, как и другие «исторические оптимисты», считаю, что у России нет «цивилизационного запрета» на переход от авторитарного к правовому режиму, тем более, что в нашем обществе, наряду с подданническим менталитетом, с давних пор существовала и существует альтернативная, персоноцентристская контркультура, а «вся русская классическая литература... доказательство национальных российских корней концепции гражданского общества... ее защитница и нравственный гарант» [Паин 2009: 201]. Да и не только литература — в России, вопреки почти бепрерывному прессу автократического государства и реакционных черт массового сознания, на которых строят свои пессимистичесие концепции сторонники непреодолимости колеи «особого пути», никогда, даже в самые тяжелые времена, вопреки гонениям и репрессиям государства и иных реакционеров, не умирала, а находила все новыве ниши для самовыражения и развития альтернативная персоноцентричная контркультура. Причем происходило это в самых разных формах, прежде всего — в независимой от государства общественной деятельности.

Контркультура и перекрестки российской истории

В российской истории было несколько перекрестков, «развилок», когда был вероятен, но по разным причинам не произошел переход общества на иную «колею» развития. Поскольку я посвятил подробному описанию этих перекрестков три книги, ограничусь здесь конспективным напоминанием их логики и последовательности. Разумеется, «перекресток» — не какое-то короткое событие, он может занять довольно длительное время. В восяком случае, в прошлом было именно так. Правда, теперь времена ускорились. И радикально. То, что раньше занимало века, человечество проскакивает за пару десятилетий, а десятилетние эпохи сжимаются до лет, а порой — и до месяцев.

Первая такая развилка, случившаяся еще «рано, до звезды», это — Смутное время. Вопреки имперской традиции нашей историографии, сам я в цедом положительно оцениваю и роль Лжедмитрия I, и польского культурного влияния на Россию в 17 веке. (Разумеется, на военную экспансию польского королевства это не распространяется.) Ведь тогда в России польский язык был тем, чем стал в веке 18 язык французский — языком культурного общения. Немногочисленные частные московские библиотеки состояли тогда в основном из польских книг. Поэтому то, что мы провозгласили 4 ноября праздником освобождения, неверно и фактографически, и просто нелепо, ибо Григорий Отрепьев, независимо от его реального происхождения (только хорошо, если он не был отягощен наследственностью Ивана Грозного), за тот год, что он пробыл в Москве на царствовании, начал процесс модернизации патриархальных и антиличностных стереотипов отношений власти и людей. Он и популярность успел завоевать, и ряд изменений в систему управления начал вносить. А загоаор против него был составлен и осуществлен придворной высшей бюрократией, не желавшей перемен. Правда, народ в то время, включая и узкий образованный класс, не был готов к серьезным переменам и предпочел вернуться к, говоря словами Ключевского, «безумному молчанию мира».

Вторая, более трагичная развилка — царствование Петра I. Предпетровское время накапливало потенциал для реальных изменений, и большое несчастье страны, что унаследовать его и пустить в действие довелось именно этому человеку. На мой взгляд, Петр - одна из самых зловещих персон российской истории. И дело даже не в его патологической даже по меркам тех времен жестокости и способности выстилать дорогу к своим геополитическим целям несчетными мирадами человеческих жизней. Его историческая вина перед страной и ее будущим в том, что он подмял движение к подлинным модернизационным культурным переменам лишь переменами технологическими, по формам, так сказать, псевдоевропеизацией, продолжая и эксплуатируя глубинные архаичные стереотипы национального сознания. Он использовал европейские достижения, прежде всего, в военно-технической сфере, не дополняя их изменениями политико-культурными, а воспроизводя все тот деспотизм, лишь сделав его функционально, технологически более эффективным. И цена его деяний была соответствующей — уже за первую половину его царствования численность населения страны сократилась на 20 процентов.

Если опустить отчаянную интригу «верховников» в 1730 году, попытавшихся связать «кондициями» всходившую на престол петрову племянницу Анну Иоанновну, то следующий судьбоносный перекресток пришелся на ранний период царствования Екатерины II, собственноручно скопмилировавшей основанный на трудах французских просветителей «Наказ» и созвавшей совещание представителей всех сословий для легитимации перемен. Реакция послепетровского поколения была неожиданной. Как писал В.О. Ключевский, «никогда в России не было пролито так много радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины» [Ключевский 1958, т. 5: 355]. Собравшиеся депутаты плакали от радоствования Скатерины»

сти, что жестокое прошлое больше не вернется, от того, что власть впервые заговорила с людьми, испокон веку пребывавшими в холопском унижении и бесправии, как со свободным, ответственным за устройство своей жизни, народом. Но, утерев слезы умиления, они холодно отвергли все вольтерьянские идеи Екатерины. Представители всех сословий объединились в рабовладельческом вожделении — в желании иметь крепостных. Больше того, право владеть крепостными душами пожелало приобрести и духовное сословие, монастырское и приходское священство! И Екатерина, по ее собственной реплике «поняв, с кем дело имеем», отступилась от либеральных замыслов, предпочтя роль либеральной рабовладелицы. А там и пугачевщина случилась.

Две следующие развилки, когда у страны был реальный шанс перейти на другую историческую колею, пришлись на 19 век. Одной из их политических кульминаций стал холодный декабрьский день 1825 года, когда за созерцание драмы почти рыцарской красоты, разыгравшейся на подмостках Сенатской площади, страна заплатила крушением на несколько десятилетий шанса на изменение своей исторической судьбы, ибо ранний декабризм создавал серьезные предпосылки для перемен. Разумеется, морально и эмоционально я очень и очень уважаю декабристов. Но, как говорил Пушкин, «двести поручиков разыграли в карты империю». И политические последствия их выступления и бесславного поражения были ужасны.

В стране возродился жесткий авторитаризм петровского образца, хотя все же и при Николае I шло накопление потенциала для последующего «скачка». Так что «перегоны» между перекрестками тоже бывают конструктивными. В стране появилась, используя выражение Дидро, «новая порода людей», и весь век прошел под знаком ее укрепления. И, конечно, весьма позитивную роль сыграла «оплеуха» поражения в Крымской войне. Ведь во многом из ее последствий вышли великие реформы Александра II. Кстати, немало сделала в этом плане и государственная бюрократия — наш извечный «козел отпущения». Инициатива преобразований шла сверху, и либеральная бюрократия сыграла в них не последнюю роль. И царствование Александра со всеми реформами, контрреформами и прочими флуктуациями были периодом реальной возможности для перехода на иную «колею». Все рухнуло в сырой первомартовский день 1881 года.

Две последние развилки пришлись: одна — на начало, другая — на конец XX века. Воздержусь в данном тесте от обсуждения комплекса связанных с ними вопросов. Эта в высшей степени злободневная и дискуссионная проблематика сейчас постоянно обсуждается. А нас обращение к ней увело было слишком надолго в сторону. Замечу лишь, что мы опять, в который уже раз, упустили свои шансы. Тем не менее, насчитывающий долгую-долгую историю феномен противостояния двух культур — факт для непредвзятого аналитика очевидный. Да, России не удалось до сих пор поменять вектор своего исторического движения в пользу более человечной и социально эффективной системы отношений. Но альтернатива извечному государственному «людодерству» в ней никогда не умирала, а теперь тем более не умрет. Вопрос лишь во времени. Поскольку я к футурологии во всех ее изводах отношусь по меньшей мере сдержанно, то предсказывать сроков не берусь а ограничусь цитатой одного из лозунгов декабрьских протестов 2011 г.: «История поставила на нас и положила на них».

И это представляется одним из важных оснований для исторического оптимизма относительно нашего будущего. Причем совершенно не обязательно — отдаленного. Историческое время сейчас беспрецедентно сжалось: века — до десятилетий, десятилетия — до немногих лет, а порой и до месяцев. Даже ближайшее будущее непредсказуемо, и сценарии его развития зависят от множества факторов. Включая интеллектуальную волю образованной части общества и сознание ею своих особых, повышенных моральных обязательств.

На тему о роли интеллигенции в российской истории и жизни двух последних веков пролито много чернил. В том числе — и мной. Не буду в данном случае ее поднимать. Лишь

замечу, что даже в советские времена, в условиях тогдашнего «ледникового периода» интеллигенция, пусть со всеми издержками и отклонениями, но выполнила социальную программу-минимум — не допустить деградацию общества до уровня необратимого духовного оскудения и одичания. Сейчас, в иных, хотя чем-то и похожих обстоятельствах, когда на нас давят не только и не столько опасности, сколько соблазны, перед интеллигенцией тоже стоит вызов, с которым она пока справляется не лучшим образом, находя, как обычно, весьма изобретательные самооправдания и объяснения. И одно из них — придуманный фатализм, якобы наша историческая «обреченность», во всяком случае — в обозримом будущем. На мой взгляд, это перекликается с фрейдистским «инстинктом смерти» — Танатосом.

А наш действительно особый путь как раз состоит в необходимости вырваться из порочного круга, воспроизводящего все те же архаичные модели взаимодействия народа и властей предержащих. Они много раз доказали свою историческую бесперспективность. Из-за них Россия трагически проиграла XX век. Но сегодня они опять навязываются нам, теперь в оболочке якобы консерватизма, а на самом деле — ретроградства, имеющего мало общего с консерватизмом подлинным. В нынешний же век они просто разрушительны, грозя стране и ее гражданам сначала коллапсом, а затем и окончательной катастрофой.

До сих пор мы как социум были не слишком удачливы в выборе исторических путей. Как все сложится на этот раз? Не берусь давать оценку вероятности реализации разных сценариев. Но важно в полной мере осознать собственную ответственность за судьбу страны. И история, и свежайший пример соседней (совсем недавно еще братской) страны — Украины — показывают, что в критические периоды не только позиция и желания так называемой политической и прочей «элиты», а воля и поведение обычных людей, рядовых граждан, в подлинном, а не в казенно шовинистском смысле поднявшихся с колен и обретших личностное сознание и достоинство, может стать решающим фактором, который определит дальнейшую траекторию развития. Если же мы по-прежнему будем упиваться нашей «уникальностью» или сокрушаться из-за нее (в данном случае модус несуществен), то перспективы наши печальны. Мы уже много раз упускали свой шанс и исчерпали лимит на ошибки.

Андрон Кончаловский, «среднее звено» клана талантливых людей, чьи вполне реальные художественные таланты тем не менее уступают их просто фантастическому таланту всепогодной политической приспособляемости и сервильности, придал идее якобы неизменности «культурного кода» нации чеканную формулировку: «Культура — это судьба». Звучит как дантовское «оставь надежду, всяк сюда входящий», во всяком случае, для меня. Но я не разделяю его исторического фатализма и культурного детерминизма. Причем не только эмоционально, не просто мировоззренчески, но, что важнее, и аналитически. Мне гораздо ближе позиция, которую А. Заостровцев выразил словами: «История — это не судьба и что порочный круг может быть разорван» [Заостровцев 2014: 40].

Более того, многое порой зависит от исторических случайностей и субъективных факторов. Правда, как подчеркивают Асемоглу и Робинсон, возможно не только поступательное, но и попятное движение. Да нам и самим несложно вспомнить примеры торжества реакции как в европейской, так и в собственной истории. Конечно, такие отступления происходят не навечно. Но жизнь конкретных поколений или минимум ее часть исковеркать очень даже могут. Будущее, даже ближайшее, всегда альтернативно. И тут многое зависит от нас самих. Еще в 17-м веке немецкий поэт Пауль Флеминг писал: «Подчас о времени мы рассуждаем с вами. Но время это — мы! Никто иной. Мы сами». А для века нашего это истинно вдвойне.

А я почему-то все же верю в исторический прогресс. Хотя он не приходит автоматически. За него надо бороться, противостоять тенденции очередного заталкивания страны все в ту же «колею», пусть и во внешне отчасти модернизированных формах. Она принципиально неспособна принести людям благополучие и свободу. Но *СВОБОДА НЕ БЫВАЕТ БЕС*-

ПЛАТНОЙ. За нее, как показывает исторический опыт многих стран, надо быть готовым и нечто отдать, и чем-то рискнуть. Противостояние злу имеет множество форм. Общественный протест — одна из них. Но имеет множество способов выражения [Оболонский 2017].

Еще необходимо хотя бы кратко обозначить психологические и этические аспекты проблематики. Важнейшую роль «духа предков» подчеркивали мыслители самых разных школ и направлений. Иногда это было, может быть, единственной областью согласия теорий, во всем остальном полностью противоположных. К. Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера...» пишет: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» [Маркс, Энгельс 1957]. А с противоположной стороны мировоззренческих «баррикад» ему вторит один из идейных отцов расовой теории Густав Лебон: судьбой народа руководят в гораздо большей степени умершие поколения, чем живущие, влияние предков преобладает над влиянием современной среды [Лебон, 1896]. Не правда ли, подобная близость суждений у в остальном непримиримых антагонистов впечатляет?

Но все это было высказано еще в позапрошлом вее. С тех пор многое изменилось. Ход истории ускорился в разы. И ситуация последних десятилетий и особенно первых лет нового тысячелетия, думаю, отличается от предыдущих. Никогда еще в человеческой истории практически одновременно не происходило такого количества кардинальных изменений в самых разных сферах жизни. Причем перемены, затрагивающие самые основы традиционного образа жизни большей части человечества, самым невероятным образом переплетаются с ранее устоявшимися, привычными моделями и стилями поведения и мышления. Тот «шок от столкновения с будущим», о котором почти полвека назад предупреждали американский социолог Дэниэл Белл и Римский клуб, наступил. Будущее буквально вламывается в нашу нынешнюю жизнь и настоятельно требует решений в свою пользу.

Конечно, на нас и теперь оказывает влияние и прошлое, и будущее. В какой-то мере мы остаемся людьми прошлого, которые живут в тени, отбрасываемой будущим. И сегодняшние масштабы и темпы изменений только усиливают то трагическое ощущение разрыва, которое испытывает современный человек, находящийся в зоне притяжения одновременно прошлого и будущего.

Однако это отнюдь не предполагает фатализма, какой-либо плененности прошлым. Вопервых, прошлое неоднозначно и многослойно, в нем есть ближний, средний и дальний планы. Во-вторых, национальный характер не есть нечто, заданное от века и раз навсегда: в нем (как и вообще в культуре) переплетены элементы традиции и новации, преемственности и модернизации. В-третьих, понятно, что национальная (как, впрочем, и групповая, и классовая) психология и этика, в известной мере понятия условные, научные абстракции. Мы — не рабы своего прошлого. Но творя свое настоящее и завтрашний день, мы должны ясно сознавать, какие именно колеи проложены нашими предками, где и почему они падали и спотыкались, какую цену им и последующим поколениям приходилось платить за их ошибки и заблуждения, и откуда и куда нам предстоит выбираться.

Психологический и этический аспекты

А в теоретическом психоанализе это связано с концептами коллективной идентичности, исторической травмы, комплекса неполноценности в его оборонительной и агрессивной формах [Volkan 1988]. Для либералов «пессимистов» концепция «неудачного народа» с якобы неизбывной рабской ментальностью и потому неспособного к перемене «колеи» своего исторического движения — вариант «избранной травмы» (chosen trauma). Навязчивая, сознательно нагнетаемая официальными СМИ и продолжающаяся уже три года антиукрачиская истерия, которая выходит за все рамки не только приличий (пожалуй, последнее сло-

во для описания деятельности компаниии соловьевых-киселевых-кургинянов и массовки их подпевал вообще неуместно), но и просто здравого смысла, даже рационального политического расчета, вполне вписывается в концепцию Волкана о потребности иметь врагов. Идея же национального комплекса неполноценности имеет фрейдистские корни.

А проблема этики публичной сферы и нависшей над нашим обществом моральной катастрофы, связанной сначала с недооценкой ее значения в 90-е годы, а затем — с ее технократическим игнорированием в годы последующие, вообще представляется ключевой. Однако ее обсуждение — тема самостоятельная. Скажу лишь, что без нее даже самые изощренные экономические конструкты, никакие институциональные усовершенствования не приведут нас к нормальному, полноценному обществу. Критически важно, в чьи руки руки эти институты и конструкты попадут. Не случайно, что едва ли не основной категорией в размышлениях ведущих экономистов всего мира стала проблема доверия. Что, как известно, отнюдь не принадлежит к экономической классике, а связано с человеческими качествами, о роли которых заговорил еще в начале 60-х Римский клуб [Печчеи 2009]. С тех пор это стало еще более, критически актуальным, о чем свидетельствуют работы экономистов последнего десятилетия, обзор которых содержится, в частности, в обзорной работе А.Заостровцева «О развитии и отсталости» [Заостровцев 2014а].

Пена избыточного экономизма

Вообще избыточный экономизм и технологизм, присущие постсоветскому периоду нашей жизни, сыграли, с моей точки зрения, неоднозначную роль. В XIX–XX столетиях «проклятие одномерности» наиболее ярко и агрессивно проявилось в форме так называемого «экономического монизма», основанного на убеждении в безусловном примате хозяйственной деятельности над всеми прочими сферами жизни людей. Марксистская версия этого монизма, на которой воспитывались все советские люди, излагала данную дилемму в терминах приоритета производительных сил над производственными отношениями, базиса над надстройкой. Сейчас в моде другие версии экономического монизма, который, впрочем, точнее называть редукционизмом. Как известно, есть разные его виды — политический, религиозный, научно-технократический, этнический, психологический, даже экологический... Но за каждым из них стоит все то же плоскостное и, как правило, довольно высокомерное сознание «жрецов», служащих, по их мнению, в храме «главного» божества.

Парадоксально, но наша страна, казалось бы, до дна испившая горькую чашу экономической одномерности, не избавилась от нее и в постсоветские времена. Наши пришедшие в правительство в начале 90-х, в момент не просто коллапса, а просто кануна полного экономичеакого краха страны либералы, были, как правило, высококлассными экономистами. И, что важно лишний раз подчеркнуть в свете модного и циничного шельмования «лихих 90-х», людьми лично честными, порядочными. Именно они спасли страну от катастрофы, что бы сейчас ни вещала политиканствующая челядь разных видов. Но при этом они, хотя порой и выходили за рамки экономических схем (например, заговаривали о свободе слова, о правах человека), но делали это как-то вяло и неубедительно. Чувствовалось, что свобода духа, в отличие от свободы экономической — не их сфера, что в глубине души они все-таки не верят, что «не хлебом единым жив человек». Боже упаси упрекать их в этом. Просто не были они гуманитариями по своему профессиональному опыту и взгляду на мир. И это, с моей точки зрения, одна из важных причин возобладавшего неадекватно негативного отношения к либеральной повестке и идеологии в массовом сознании россиян, позволившем осуществить последующий откат и шельмование 90-х со всеми негативными последствиями этого.

Между тем подобный экономический перекос совсем не обязателен для либерализма, возникшего, как понятно даже из этимологии самого слова, из стремления людей к свободе — ко всякой свободе, а не только экономической! Он скорее отражает извечный человеческий соблазн найти универсальный «философский камень», или, другими словами, однуединственную первопричину всего, доминанту, определяющую ход всех прочих происходящих в обществе процессов. Увы, тяга к одномерным объяснительным схемам присуща людям с древнейших времен. В древности и Средние века причины событий сводили к воле и деяниям царей, героев, пророков, либо к Божественному Промыслу. Уже в Новое время Гегель объяснял историю через развитие Абсолютного Духа. И, как ни странно, человеческая мысль и поныне не излечилась от соблазна сводить все к единому «знаменателю».

Цена технократизма

Другой перекос связан с избыточным технологизмом, переходящим в технократизм, что имело место и продолжает существовать как на научно-прикладном, так и на практикоуправленческом уровнях. С моей точки зрения, при анализе либо попытках улучшения политико-управленческой системы, игнорирование ценностного аспекта, самоограничение исследователя технологическими (организационными, социально-инженерными) моментами, чревато весьма опасными последствиями. Ведь технология, социальная инженерия могут служить как добру, так и злу. И часто служат. Классический пример — высоко тезнологичное для своего времение технологическое обеспечение преступной деятельночти нацистского государства, в частности «окончательного решения еврейского вопроса» — Холокоста. Поэтому чисто технологические (не говоря уж о технократических) штудии и разработки, направленные на «повышение эффективности государства», вполне могут быть контрпродуктивными и даже негативными, а то — и разрушительными по своим социальным последствиям, по влиянию на жизнь конкретных граждан и их объединений. К сожалению, не нужно далеко ходить за примерами «эффективных», но деструктивных действий и наших государственных органов и служб. Каждый читатель легко их найдет. К тому же жизнь все время добавляет новые и новые примеры. Целеполагание находится за пределами технологий и методик совершенствования управления. A в сегодняшней реальности политические ценности, определяющие организационное поведение нашей управленческой системы, по моему мнению, ведут страну к катастрофе.

Думаю, технократические перекосы в сознании и характере разработок исследователей, занимающихся политической и особенно управленческой проблематикой, отчасти связаны с *дефицитом в их среде гуманитарной культуры и, соответствующего ей «мировидения».* Это, в частности — одно из негативных последствий излишне прагматической, приземленной переориентации образования на «компетенции» в ущерб общим знаниям.

Альтернатива — «особый» цивилизационный тупик, в направлении которого мы сейчас, хотя, к счастью, непоследовательно и неуверенно, но все же движемся. И немалую часть пути, увы, уже прошли. И если следовать концепту фатальности «особого пути», то мы обречены. Это — версия комплекса неполноценности, своего рода «расизма наоборот», которую я не могу принть ни эмоционально, ни аналитически. Хотя бы потому, что культура не гомогенна и постянно находится в процессе развития и перемен. Перемен разнонаправленных, неоднозначных, но комплекс связанных с этим вопросов — за пределами темы статьи.

А завершить хочется большой цитатой из Карла Поппера, считавшего глубочайшей и еще далеко не завершенной революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид растворен в коллективности, взамен получая иллюзию защищенности, к обществу открытому, где он свободен и должен сам принимать личные решения. Такой переход неиз-

бежно сопряжен со страхом свободы, с желанием и попытками вновь захлопнуть уже отворенную дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это приносит лишь новые беды, ибо вернуться в мнимый «утраченный рай» тоталитаризма невозможно. «Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа, тем вернее мы в действительности придем к инквизиции, секретной полиции и романтизированному гангстеризму... нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед которым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остаться людьми, то перед нами только один путь — путь в открытое общество» [Поппер 1992: 248].

Волкан В., Оболонский А. 1992. Потребность иметь врагов и друзей. — Дружба народов. — N 7. — С. 171–185.

Заостровцев А.П. 2014а. О развитии и отсталости. — Спб.: М-Центр.

Заостровцев А.П. 2014b. История по Асемоглу-Робинсону: институты, развитие и пределы авторитарного роста. — Общественные науки и современность. — № 3. — С. 40.

Ключевский В.О. 1958. Курс русской истории в 8 т. — М.

Клямкин И.М. 2011. Демилитаризация как историческая и культурная проблема. — *Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов*. — М. Либеральная миссия.

Лебон Г. 1896. *Психология народов и масс.* — СПб.

Маркс К., Энгельс Ф. 1957. *Сочинения*. 2-е изд. Т.8. — М.: Государственное издательство политической литературы.

Оболонский А.В. 1994. Драма российской политической истории: система против личности. — М.: Институт государства и права РАН.

Оболонский А.В. 2017. Протест — не патология. — НГ-Политика.

Паин Э.А. 2009 *Распутица: полемические размышления о предопределенности пути России.* — М.: РОССПЭН.

Печчен А. 2009. Человеческие качества. — СПб.

Поппер К. 1992. Открытое общество и его враги. Т. 1. — М.

Хаффнер Б. 2016. *История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха.* — СПб. Изд-во Ивана Лимбаха.

Яковенко И. 2011. Русская репрессивная культура и модернизация. — *Куда ведет кризис культуры*. — М.

Volkan V. 1988. Need to Have Enemies and Allies. — Jason Aronson Inc.